

УДК 94 (1–925.3)

ББК 63.3 (54)

**Социально-политическая организация кыргызов
Центральной Азии в отечественной историографии
1920-х — начала 1960-х гг.: от эволюционизма
к марксизму***

П.К. Дашковский

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

**Social and Political Organization of the Kyrgyz
of Sayan-Altai in the Soviet Historiography
of 1920s — Early 1960s: from Marxism
to Evolutionism**

P.K. Dashkovskiy

Altai State University (Barnaul, Russia)

Изучение социально-политической организации раннесредневековых кочевников, в том числе кыргызов, является одним из значимых направлений отечественной тюркологии и номадологии. При этом в первое десятилетие после установления в стране советской власти изучение кочевых народов продолжалось в русле дореволюционной исторической науки. С конца 1920-х — начала 1930-х гг. наметился окончательный переход к формационной теории в сталинской трактовке, что отразилось на социально-политических реконструкциях в кочевниковедении и в исторической науке в целом. Однако по мере исследований становилось очевидным, что кочевники раннего Средневековья, в том числе кыргызы, слабо вписывались в классические параметры классовых обществ в рамках рабовладельческой или феодальной формаций. Однако несмотря на такую ситуацию, выйти ученым за существующие методологические и идеологические рамки не представлялось возможным. Важно также отметить, что в 1920-е — начале 1960-х гг. были еще слабо представлены палеосоциологические исследования на археологических материалах. Даже в наиболее подробно рассматривавших социальные вопросы работах С.В. Киселева, Л.А. Евтюховой делались только первые попытки таких интерпретаций исходя из наиболее значимых признаков погребального обряда. В то же время развернувшееся в советское время исследование погребальных памятников кыргызов, анализ китайских, рунических и других письменных источников подготовили необходимую основу для дальнейше-

Analysis of social and political organization of early medieval nomads, including Kyrgyz, is one of the most important lines of research in the Turk studies and nomad studies.

In the first decade after the establishment of Soviet power the research of the nomad people continued in line with the pre-revolutionary historiography. Since the late 1920s — early 1930s a final transition to formation theory in Stalin's interpretation was realized, which influenced social and political reconstruction in nomad studies and historic science in general.

However, it became clear that the nomads of early medieval period including Kyrgyz did not answer the classic characteristics of class societies in the framework of the slave or feudal formations. Despite this situation, it was not possible to use another methodological and ideological framework for research.

It is significant that in 1920s — early 1960s, the paleosocial research of archaeological materials was rarely used. Even the works by S. V. Kiselev, L. A. Yevtukhova dedicated to social issues the first attempts of such interpretations of the mortuary rite most important signs were made.

At the same time, the study of burial artifacts of the Kyrgyz, analysis of Chinese, runic and other written sources conducted in the Soviet time prepared the necessary basis for further study of social and political genesis of Kyrgyz and other Turkic nomads of Central Asia in the Middle Ages.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ «Формирование и функционирование элиты в социальной структуре кочевников Саяно-Алтая в эпоху поздней древности и раннего средневековья» (проект №13-31-01204).

го изучения вопроса социо- и политогенеза кыргызов и других тюркоязычных кочевников Центральной Азии эпохи Средневековья.

Ключевые слова: историография, номадология, кыргызы, Южная Сибирь, Центральное Азия, средневековье.

DOI 10.14258/izvasu(2014)4.2-09

Вторая половина XIX столетия по праву считается важнейшим этапом в становлении отечественной тюркологии. Публикация перевода китайских источников Н. Я. Бичуриным, дешифровка тюркской рунической письменности, целенаправленное изучение различных археологических памятников и сбор этнографического материала, распространение эволюционизма создали основу для появления первых концептуальных работ по истории тюркских народов, хотя в дореволюционный период развития науки их было еще немного. Более того, затронутые в данной статье вопросы социально-политического развития кыргызов практически еще не нашли специального отражения в изданиях второй половины XIX — начале XX в. Скорее можно говорить о социальных оценках некоторых тюркологов, в частности В. В. Радлова [1, с. 249–250], которые можно транслировать и на раннесредневековый период.

После революционных событий в России в 1917 г. вплоть до начала 1930-х гг. в изучении истории номадов раннего Средневековья ведущая роль по-прежнему принадлежала дореволюционным исследователям. Особое место среди них занимал В. В. Бартольд. Знание восточных языков, активное изучение источников, в том числе и тех, которые только были введены в оборот в первой трети XX в., проведение археологических и исторических исследований в Средней Азии сделали его в 1910–1920-е гг. ведущим специалистом в области средневековой истории кочевников Азии. Его перу принадлежит целый ряд выдающихся трудов, которые в общих чертах раскрыли историю большинства крупных социально-политических образований номадов второй половины I тыс. н. э. — начала II тыс. н. э. Среди таких работ, в которых представлена краткая оценка социально-политических процессов у кыргызов можно отметить «Киргизы. Исторический очерк», «Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии», «История турецко-монгольских народов» и др. В целом востоковед указывал на достаточно высокий уровень социально-политической организации кыргызов, которые смогли на короткий период стать гегемонами в центральноазиатском регионе в период своего великодержавия [2, с. 40–41; 3, с. 200–202]. Примечательно также, что В. В. Бартольд одним из первых отечественных ученых применил термин «кочевая импе-

Key words: historiography, nomad studies, Kyrgyz, South Siberia, Central Asia, the Middle Ages.

рия» в отношении государственных образований номадов, а также попытался выделить значительную группу факторов, повлиявших на особенности политогенеза кочевников [3, с. 197–200].

Необходимо отметить, что смена политической власти первоначально никак кардинально не сказывалась на творчестве востоковедов. Показательными в этом отношении как раз являются работы В. В. Бартольда, подготовленные в 1920-е гг. Ситуация в исторической науке в целом и в номадологии в частности стала постепенно меняться с конца 20-х гг. XX в. Если говорить о новых тенденциях в конце 1920-х гг., связанных со становлением «истории материальной культуры» и «теории стадиальности», свертыванием дискуссий, первыми репрессиями против кочевниковедов, переходом многих авторов на более «правильные» методологические позиции, то исследования мировоззрения раннесредневековых номадов они затронули слабо. Принципиально ситуация изменится только в середине 1930-х гг. Определенную эволюцию, правда, можно отметить во взглядах В. В. Бартольда, но они касались социально-политического аспекта развития номадов. В одной из последних своих статей он уточнил собственные представления о генезисе кочевой государственности, подчеркнув, что без момента обострения классовой борьбы даже в условиях кочевого быта нет почвы для возникновения сильной правительственной власти [4, с. 471]. Несмотря на определенное воздействие марксизма, было бы ошибочно видеть в работах В. В. Бартольда 1929–1930 гг. «сколько-нибудь последовательное отражение его перехода на материалистические позиции — марксизм оставался чужд исследователю» [5, с. 7; 6, с. 15; 7, с. 32].

Концепция развития номадов В. В. Бартольда не совсем вписывалось в официальную историческую науку конца 1920-х — начала 1930-х гг. Не случайно в этот период стали появляться резкие критические оценки разработок со стороны сотрудников одного из главных цензурных органов СССР — Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит), созданном еще в 1922 г. Работы В. В. Бартольда, как и многих других крупнейших отечественных историков, характеризовались как открытое выступление идеалистического мировоззрения, вульгаризация марксизма, «смазывание классовой борьбы», сознательное игнорирование

современности, эмпиризм и др. [8, с. 27–28]. В 1930 г. последовало постановление СНК РСФСР о реорганизации Главлита, который преобразовывался в отдельное управление Наркомпроса. Функции такой структуры еще более расширились и стали касаться не только цензуры изданий по общественным наукам и философии, но и художественной литературы, а также «руководства... учебно-методическим процессом в вузах и школах» [8, с. 27].

В первые годы советской власти археологическое направление исследований памятников раннего Средневековья Южной Сибири и Центральной Азии также было представлено преимущественно учеными с дореволюционным стажем (В. А. Адрианов, П. К. Козлов, С. И. Руденко, В. В. Бартольд, Б. Я. Владимирцов и др.). Наряду с ними в обследование и изучение раннесредневековых памятников включились М. П. Грязнов, С. В. Киселев, А. Ю. Якубовский, А. Н. Бернштам. Уже в 1920 г. начались исследования Минусинской экспедиции, работавшей до 1927 г. под руководством С. А. Теплоухова (РАИМК, Томский университет, Русский музей). В 1923 г. в работе экспедиции принимал участие М. П. Грязнов, в 1927 г. — В. А. Адрианов. В 1925 г. С. А. Теплоухов организовал работы в Центральной Азии и Тувинской народной республике [9, с. 100]. Минусинской экспедицией (1928–1929, 1931 гг.) под руководством С. В. Киселева были произведены разведки в окрестностях Минусинска и других местах. В 1928 г. раскопки проводились у с. Большая Тесь на р. Тубе, где среди разновременных погребений исследовались и кыргызские курганы. В 1931 г. раскопки производились у с. Усть-Ерба в Хакасии и у с. Малые Копены (андроновские, тагарские, таштыкские и кыргызские погребения). В целом в 1920-е гг. археологические объекты раннего Средневековья чаще всего выступали как материал для разработки культурно-хронологических схем. В своей знаменитой классификации памятников Минусинского края С. А. Теплоухов [10, с. 55] выделил погребения, принадлежавшие кочевому населению — «киргизам» (исследователь верно отнес их ко второй половине I тыс. н. э.) и «представителям турок», «появившимся в VII в.» и покорившим «киргизов». Особо следует подчеркнуть, что разработанная С. А. Теплоуховым типолого-хронологическая схема позволяла выявить хронологическую и культурную взаимосвязь между разными объектами и тем самым проследить в археологических материалах отражение социальной структуры кочевых обществ.

На изучение раннесредневековых кочевых обществ оказывали влияние и исследования по истории и этнографии кочевых народов конца XIX — начала XX в. Они прежде всего отражали желание молодых исследователей освоить и адаптировать к истории и этнографии кочевников различные трактовки стадильной теории. Учитывая то, что наследие К. Маркса,

Ф. Энгельса и В. И. Ленина еще не было осмыслено, а понимание идей «классиков» не было «загнано» в определенные, утвержденные властью, рамки, советские ученые 1920-х — начала 1930-х гг. искажали основы марксистского подхода к истории в самых разных теоретических разработках (не исключая тех, кто уже рассматривался как противник большевизма). При этом значительная часть ученых 1920-х гг. — Б. Э. Петри, А. Турунов, М. Н. Богданов, Б. А. Куфтин, К. М. Тахтарев, С. И. Руденко, В. П. Гирченко рассматривала социальную структуру средневековых и более поздних кочевых объединений в свете эволюционизма как иерархию подразделений рода или более крупных институтов — племени, союза племен, орды. Кочевники считались одним из примеров родовых обществ. Сословное деление и другие атрибуты развитых социальных систем, по мнению этих авторов, если и имели место, то не оказывали существенного влияния на эволюцию кочевых обществ (см. обзор: [11, с. 220]).

К концу 1920-х гг. в исторических и археологических кочевниковедческих исследованиях наметились определенные изменения. Они были связаны со стремлением части ученых, как правило, представляющих уже советское поколение, более активно внедрять в науку марксистские принципы. Так, еще в середине 1920-х гг. некоторые ученые активно призывали к внедрению принципов историзма в археологические изыскания. Вторая половина 1920-х и первые годы 1930-х гг. прошли в бурных дискуссиях о дальнейших путях развития археологии, необходимости перехода на позиции исторического материализма, методах систематизации археологического материала и других проблемах [12; 13; 14, с. 24]. Кроме того, для кочевниковедческих исследований особенно важное значение имели дискуссии о предмете и методе археологии, теоретических основах социологии и ее соотношении с историческим материализмом и историей, общественно-экономических формаций и азиатском способе производства. В результате этих дискуссий в исторических изысканиях приоритетным становился марксистский социологический подход, трактовки которого были весьма различны. Так, необходимость изучения общественно-экономических формаций на основе археологических материалов отстаивалась сторонниками «истории материальной культуры» (В. И. Равдоникас, С. В. Киселев, А. Я. Брюсов) в противовес, как они определяли, последователям «археологического вещеведения». Разделение двух направлений археологии увеличивалось потоком критики, обрушившейся на «буржуазное вещеведение» и «ползучий эмпиризм», якобы имевших место в дореволюционных и ряде послереволюционных исследований (подразумевались классические для археологии методы, прежде всего типологический). Положительные моменты в этой критике «перечеркивались» излишне

нигилистическим отношением ко всему предшествующему отечественному опыту [12, с. 128–136; 13, с. 20].

Определение целей археологии как восстановление по памятникам материальной культуры общественно-экономических формаций сделало социальные реконструкции, а также разделы по экономической и социально-политической истории, неотъемлемой частью археологических работ [12, с. 102–103; 15, с. 76; 13, с. 18–19; 16, с. 48–49, 52; 17, с. 6].

В русле этих изменений понятно появление стадийного подхода к изучению древних обществ, одним из разработчиков которого был академик Н.Я. Марр [18–20]. Первоначально «теория стадийности» была выработана исследователем в рамках языкознания. Отводя языку роль надстройки общества, считали, что смена «видов» производства, вызывая перемены в общественном строе, отображается в коллективном мышлении и соответственно в языковой структуре. Это в свою очередь позволяло заключить, что каждой социально-экономической формации соответствует специфичный языковой строй. Тем самым Н.Я. Марр и его единомышленники, в частности И.И. Мещанинов [21] и В.В. Гольмстен [22], распространили положения теории стадийности на изучение истории. Они исходили из представления, что процесс развития культуры обладает единством для всех районов старого света на начальных этапах становления человечества. Существующие различия в формах развития культуры выводились исследователями из неодинаковых условий и несходного характера их проявления, обуславливающих известную вариабельность в общем ходе развития [20, с. 34–36].

Эволюция в культуре (материальной, духовной), преобразования языка связывались Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым со стадийными трансформациями автохтонного населения. Популярность автохтонизма в отечественной археологии являлась реакцией на распространение в европейской науке миграционизма и диффузионизма, отвергавших традиции эволюционизма [12, с. 120–122; 13, с. 21]. Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым любая «стадия» рассматривалась как универсальный этап в жизни народов одинакового культурного уровня.

В конечном итоге середина 1930-х гг. ознаменовалась практическим освоением формационной теории, особенно в той ее трактовке, которая будет закреплена «Кратким курсом истории ВКП (б)». В изучении раннесредневековых номадов, в том числе кыргызов, это выразилось, в частности, в стремлении вписать их в концепцию развития феодализма. Первой такой публикацией, в которой западноевропейская модель феодализма апробирована на исторических материалах Средневековья Саяно-Алтая, была статья С.В. Киселева «Разложение рода и феодализм

на Енисее» [23]. Само название публикации говорит о многом. Анализируя археологические материалы Минусинской котловины, исследователь буквально видел в них «подтверждение» феодального состояния общества. Так, по мнению С.В. Киселева, все население «Хакасского государства» (Кыргызского каганата) являлось «оседлыми земледельцами». «Хакасы» (кыргызы) выступают у ученого как «крестьяне», вынужденные платить дань собственникам за пользование землей, водой и скотом, а также повинности «хакасскому государству». Социальная структура «хакасского общества», как писал С.В. Киселев [23, с. 27–29], включала в себя «богатых хлебопашцев», «зависимое крестьянство» и ремесленников.

Высказанные в целой серии работ 1933–1937 гг. формационно-классовые оценки кочевых обществ Средневековья существенно сказались на отражении социальных сюжетов в археологических исследованиях (см обзор: [11, с. 16–22] и др.). При этом, правда, необходимо отметить, что социальные интерпретации в работах по археологии средневековых номадов были по-прежнему достаточно редки, хотя в разных части Советского Союза, в том числе в Южной Сибир [24; 25], вели свою работу несколько комплексных и специальных экспедиций. Такую ситуацию можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, пополнение источниковой базы поставило перед учеными задачу обработать и систематизировать полученные материалы, что занимало достаточно много времени. Их историческая характеристика явно «запаздывала». Во-вторых, многие археологии акцентировали внимание на вещеведческой работе, а социальная проблематика в силу своей специфики, если и не была им чужда, все же требовала исследований совершенно иного характера. Стоит также учесть, что история большинства регионов степной Евразии на археологических материалах только начинала разрабатываться. В-третьих, существенный урон теоретической и полевой археологии нанесли репрессии 1930-х гг. Научная деятельность ряда институтов и творческих коллективов была блокирована «разбирательствами», «проработками», «собраними с осуждением взглядов ученых», арестами. Как и в начале 1930-х гг., в 1938–1939 гг. резко снизилось число публикаций. Не случайно, что отчеты за 1934–1936 гг. публиковались только в 1941 г. В этих условиях археологи не торопились «конкретизировать представления об общественном развитии местного населения в контексте формационной теории».

Скорее исключением можно считать размышления об общественной структуре кыргызов в публикации С.В. Киселевым и Л.А. Евтюховой материалов Копенского чаа-таса. Данная характеристика кыргызского общества, в отличие от статьи С.В. Киселева 1933 г., строилась на более детальном изучении археологических и письменных источников. Ученые

выявили три социальные группы: богатая знать, скотоводы и земледельцы, рабы. По их мнению, народ не находился еще в зависимости от своей знати, и «если кыргызские ханы и беги и называли себя владельцами, то только земли». В древнетюркских надписях Минусинской котловины, как предполагали Л. А. Евтюхова и С. В. Киселев [26, с. 25–26], «народ выступает как самостоятельная сила наряду с ханом и аристократическим родом «эле́м». Мнение археологов о социальном расслоении в кыргызском каганате подтверждали материалы Копенского чаа-таса, где выдающиеся по размерам курганы содержали тайники с богатыми всадническими наборами и украшениями [26, с. 32–35, 49].

После окончания Великой Отечественной войны советская наука, как и вся страна, стала бурно развиваться. При этом социально-политическая история кочевников развивалась в условиях дальнейшей разработки и оформления советского варианта формационной концепции. В области изучения социально-политической организации раннесредневековых кочевников Центральной Азии во второй половине 1940-х — середины 1960-х гг. был издан ряд обобщающих работ, по-разному трактующих особенности общественного развития кыргызов и других тюркоязычных кочевников в раннесредневековый период. Так, в монографии «Социально-экономический строй орхон-енисейских тюрков VI–VIII веков: Восточно-тюркский каганат и кыргызы» А. Н. Бернштам [27] фактически подвел итоги своей многолетней работы по проблемам социальной истории тюркских каганатов. От предыдущих публикаций книгу отличал ряд важных моментов. В первую очередь это касалось использования исследователем термина «орхон-енисейские тюрки», прозвучавшего впервые в 1936 г. [28, с. 885]. Этой искусственной конструкции вследствие синхронизации орхонских и енисейских текстов [27, с. 30] археолог придал социальное содержание как единой общественной организации. Рассматривая, помимо письменных, археологические источники, исследователь определял как одновременные памятники тюркского времени в долине р. Орхон и Толы, «могилы культуры чаа-тас», могильники Кудыргэ и Катанда-II на Алтае. Различия в культуре он связывал с племенным и социальным делением «древнетюркского общества», в котором господствующее кочевое племя «тюрк» сосуществовало с зависимым полукочевым населением, примером которого автор считал «кудыргинцев» [27, с. 70–74].

Следует подчеркнуть, что если в работах 1930-х гг. А. Н. Бернштам придавал главное значение соперничеству рабовладельческой аристократии и феодализирующегося бегства, то в монографии 1946 г. исследователь определяющую роль в тюркском социогенезе отводил борьбе бега и общины, к «закабалению которой стремился бег» [27, с. 139, 146]. В остальном

он повторял высказанные ранее идеи (германский путь феодализации; сущность конфликта аристократии и бегов; превращения «эля» в корпорацию господствующего класса и пр.). Оценивая особенности социогенеза кыргызов, ученый также подчеркивал, что в их обществе, в отличие от тюрков, на первое место выступал бег, а не каган. А. Н. Бернштам полагал, что центральная власть кагана в это время во многом была еще «фиктивной». Возвышение же роли бега исследователь связывал со спецификой социально-экономического развития кыргызов, у которых наблюдалась полуседлость, интенсивный характер скотоводства [27, с. 157–158]. Рассмотрение социально-политической истории средневековых народов через призму классового подхода и формационной методологии было типичным явлением для исторической науки того времени. Однако именно стремление показать развитие кочевников через столкновение классовых интересов, несомненно, не давала возможности ученым учитывать объективные внутренние и внешние факторные, влияющие на социогенез кочевников.

Если А. Н. Бернштам в своих исследованиях постепенно смещал акценты с рабовладельческой формации к феодальной, то в этот же период, в конце 1940-х гг., продолжал развивать концепцию рабовладельческих отношений у раннесредневековых кочевников С. П. Толстов. Его взгляды подразумевали прямые аналогии социальной структуры Тюркского каганата и античных государств. Речь шла не только о развитии рабовладения, но и о буквальном тождестве отдельных звеньев общественной иерархии. Родоплеменная знать (беги), согласно ученому, напоминала «по своему социальному профилю раннеантичных базилисов», тарханы — патрициат, а ябгу и шады — магистров [29, с. 259–260].

Среди форм рабовладения С. П. Толстов [29, с. 261, 263–264] называл поселения ремесленников и земледельцев в степи («спартанский тип» рабства) и институты, походившие на *unagan bogol* у монголов. Причем если у Б. Я. Владимирцова *unagan bogol* — «феодално-зависимые крепостные», то у С. П. Толстова [29, с. 264] «это нечто среднее между илотами и неравноправными союзниками...» Развивались, по мнению ученого, и феодальные отношения в виде «клиентылы» — огушей (дружинников и преданных слуг кочевой аристократии) и татов (оседлых данников каганата в Восточном Туркестане и Средней Азии). Как считал С. П. Толстов, появление клиентылы разрушало «гражданскую общину» кочевников перед лицом рабов и вело к уничтожению государства. На смену приходил «молодой, сохранивший в большей неприкосновенности военно-демократические традиции», а значит, и социальное единство «эль». Подобным образом исследователь объяснял смену кочевых государств в Центральной Азии кушан, эфталитов, жуаньжуаней, тюрков, уйгуров,

кыргызов, огузов [30, с. 87, 89–90; 29, с. 265, 278–280; 31, с. 217–218, 245, 249, 270].

Определенное влияние концепция С.П. Толстова оказала на С.В. Киселева. Характеризуя Тюркский и Кыргызский каганаты, С.В. Киселев [32, с. 500, 573] указывал, что они входили в разряд «рабовладельческих» и «дофеодальных» государств «раннефеодальной поры». Тюркская аристократия рассматривалась ученым как формирующаяся рабовладельческая знать, в хозяйстве которой использовался труд рабов. Согласно мнению С.В. Киселева [32, с. 500–501; 33, с. 88–89], вся система общественных отношений в государстве «алтайских тюрок» усложнялась даннической зависимостью как рядового тюркского населения, так и многочисленных подчиненных племен. Сравнивая Тюркский и Кыргызский каганаты, исследователь считал отличительными чертами последнего относительную свободу народа от бегов и кагана и родственный характер входившей в эль аристократии [32, с. 573, 593–594].

Параллельно с анализом письменных источников во второй половине 1940-х гг. ученые стали более широко привлекать археологические данные. Так, картину социального расслоения в Кыргызском каганате демонстрировала типология кыргызских погребений, разработанная Л.А. Евтюховой и поддержанная С.В. Киселевым. К первому типу «рядовых погребений» авторы отнесли каменные курганы 4–6 м в диаметре и до 0,5 м в высоту, близкие друг к другу по особенностям обряда, составу инвентаря и форме вещей. По наблюдениям исследователей, они образуют цепочки, в которых «легко узнать кладбище нескольких семей». С.В. Киселев отдельно рассматривал могилы из первой группы, которые окружали крупные курганы. Труположения, отсутствие инвентаря, как считал ученый, говорили о том, что покойники являлись «слугами» или «рабами», сопровождавшими «хозяина» [32, с. 599–600; 34, с. 8, 10–11].

Второй тип в классификации составили курганы чаа-тас, в которых Л.А. Евтюхова [34, с. 14–18, 31, 36] и С.В. Киселев [32, с. 601] видели захоронения людей, обладавших высоким общественным положением — бегов, тарханов. Особое место занимал Копенский чаа-тас — «кладбище знатного рода». По мнению Л.А. Евтюховой [34, с. 18, 31], размеры курганов, богатый и разнообразный инвентарь данного чаа-таса отличались не только от погребений рядовых соплеменников, но и от могил других знатных кыргызов.

Л.А. Евтюхова обратила внимание на половозрастную дифференциацию кыргызского населения и на социальную планиграфию кыргызских могильников. Раскопки убедили исследовательницу, что обычай детских труположений имел место во всех типах кыргызских погребений [34, с. 11]. Она также отметила, что в составе могильников чаа-тас большие, средние и малые курганы всегда составляли отдель-

ные цепочки или группы (в цепочке больших курганов никогда не встречался маленький и наоборот). Исходя из характеристики Копенского, Уйбатского и других чаа-тасов как родовых кладбищ Л.А. Евтюхова [34, с. 15] предположила, что подобная система расположения курганов отражала «внутреннюю общественную структуру кыргызского государства».

Классификацию Л.А. Евтюховой и С.В. Киселева существенно дополнили материалы могильников Капчалы-I и II, проанализированные В.П. Левашовой. Хотя датировка могильников не совпадала, исследовательница отметила, что они являлись «хорошей иллюстрацией классового расслоения» в кыргызском обществе. Погребения могильника Капчалы-II, включавшего 22 малых кургана, соотносились В.П. Левашовой с могилами «рядовых» скотоводов. Более крупные курганы некрополя у Капчалы-II по богатому инвентарю определялись как кладбища «представителей господствующего класса». По мнению В.П. Левашовой [35, с. 135], это не были члены высшей аристократии, как погребенные в «княжеских» курганах Копенского чаа-таса, они принадлежали «кочевой знати».

Против реконструкции Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым погребального обряда минусинских чаа-тасов и соответствующих социальных определений выступила А.А. Гаврилова. Основываясь на алтайских аналогиях (Курай-IV, курган 1; Туэкта, курган 4; Яконур) и записанных И.Г. Гмелиным показаниях бургровщика Селенги, А.А. Гаврилова [36, с. 66] предполагала, что в Копенском и других чаа-тасах основными погребениями являлись труположения, а сопровождавшие их богатые захоронения по обряду кремации были неправильно охарактеризованы Л.А. Евтюховой как «тайники».

Подводя итоги изучению социально-политической организации кыргызов Центральной Азии в 1920-е — середине 1960-х гг., можно отметить, что, во-первых, в первое десятилетие советской власти изучение кочевых народов продолжалось в русле дореволюционной исторической науки. В то же время с конца 1920-х — начала 1930-х гг. наметился окончательный переход к формационной теории в сталинской трактовке. Советским кочевниковедам предстояло апробировать марксистскую концепцию на конкретно-историческом материале. Преимущественно в отношении раннесредневековых номадов господствовали точки зрения о развитии у них рабовладения либо феодальных отношений. Однако по мере исследований становилось очевидным, что кочевники раннего Средневековья, в том числе кыргызы, не очень соответствовали классическим параметрам классовых обществ. Особенно наглядно это показала дискуссия о патриархально-феодальных отношениях, где даже сторонники феодализма у номадов говорили и писали о специфичности и неразвитости феодальных отношений у скотоводческих народов.

Окончательная ревизия этих взглядов в отношении кочевников раннего Средневековья была осуществлена Л. Н. Гумилевым [37], который открыто выступил против рабовладельческой и феодальной трактовки социально-политической организации тюрок, кыргызов, уйгуров, тюркешей, карлуков и других кочевников раннего Средневековья. Он также высказал ряд ценных наблюдений, не утративших актуальности до сих пор, отметив, в частности, преимущественно внешние факторы консолидации кочевников, тесную связь политики кочевых лидеров с интересами как аристократии, так и рядовых кочевников. Это резко отличало исследования раннесредневековых кочевников Центральной Азии от разработок истории кочевников европейских степей.

Для рассматриваемого периода были практически не характерны палеосоциологические исследования археологов на материалах памятников. Причем это относится не только к изучению кыргызов, но и других раннесредневековых кочевников Центральной Азии. Даже в наиболее подробно рассматривавших социальные вопросы работах С. В. Киселева, Л. А. Евтюховой отсутствовали специальные методики изучения социальной структуры по данным археологии, хотя попытки социальных интерпретаций предпринимались. В то же время нельзя не отметить, что в конце 1950-х — 1960-е гг. подобные методики уже активно апробировались на памятниках средневековых кочевников Северного Причерноморья, Предкавказья, Нижнего Поволжья.

Библиографический список

1. Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. — М., 1989.
2. Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Бартольд В. В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — М., 2002.
3. Бартольд В. В. История турецко-монгольских народов // Бартольд В. В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. — М., 2002.
4. Бартольд В. В. Киргизы: Исторический очерк // Бартольд В. В. Сочинения. — М., 1963. — Т. II. — Ч. I.
5. Ромодин В. В. Предисловие // Бартольд В. В. Сочинения. — М., 1963. — Т. V.
6. Кляшторный С. Г. Предисловие // Бартольд В. В. Сочинения. — М., 1968. — Т. V.
7. Писаревский Н. П. Изучение истории ранних скотоводческих обществ степи и лесостепи Евразии в советской археологии середины 20-х — первой половины 30-х гг. : дис. ... канд. ист. наук. — Кемерово, 1989.
8. Зеленцов М. В. Главлит и историческая наука в 20–30-е годы // Вопросы истории (ВИ). — 1997. — № 3.
9. Длужневская Г. В. Древности восточной части Евразии в материалах научного архива Института истории материальной культуры РАН. — СПб., 2005.
10. Теплоухов С. А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. — Л., 1929. Т. IV, вып. 2.
11. Васютин С. А., Дашковский П. К. Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего Средневековья (отечественная историография и современные исследования). — Барнаул, 2009.
12. Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии (У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20-е — первая половина 30-х гг.). — Киев, 1982.
13. Клейн Л. С. Феномен советской археологии. — СПб., 1993.
14. Марсадалов Л. С. История и итоги изучения археологических памятников Алтая VIII–IV вв. до н. э. (от истоков до начала 80-х гг. XX в.). — СПб., 1996.
15. Пряхин А. Д. История советской археологии (1917 — середина 30-х гг.). — Воронеж, 1986.
16. Формозов А. А. Русские археологи до и после революции. — М., 1995.
17. Васютин С. А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии : автореф. дис. ... канд. ист. наук. — Барнаул, 1998.
18. Цыб С. В. Возникновение «теории стадийности» в советской археологической науке // Вопросы историографии Сибири и Алтая. — Барнаул, 1988.
19. Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. — М., 1991.
20. Бабушкин А. П., Колмаков В. Б., Писаревский Н. П. У истоков марксистских концепций советской археологии (Формирование стадийного подхода к исследованию древних обществ в сер. 20-х — I пол. 30-х гг.) // Методология и историография археологии Сибири. — Кемерово, 1994.
21. Мещанинов И. И. О применении лингвистического материала при исследовании вещественных памятников // СГАИМК. — 1932. — № 1–2.
22. Гольмстен В. В. Из области культуры древней Сибири (предварительное соображение) // ИГАИМК. Из истории докапиталистических формаций : сборник статей к сорокапятилетию научной деятельности Н. Я. Марра. — Вып. 100. — М. ; Л., 1933.
23. Киселев С. В. Разложение рода и феодализм на Енисее // Известия ГАИМК. — Вып. 65. — М. ; Л., 1933.
24. Евтюхова Л. А., Киселев С. В. Отчет о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. // Работы археологических экспедиций: Труды ГИМ. Вып. XVI. — М., 1941.

25. Киселев С. В. Курайская степь и Старо-Бардинский район // Археологические исследования в РСФСР 1934–1936 гг.: Краткие отчеты и сведения. — М.; Л., 1941.
26. Евтюхова Л. А., Киселев С. В. Чаа-гас у села Копены // Труды ГИМ. — Вып. XI. — М., 1940.
27. Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков: Восточно-тюркский каганат и кыргызы. — М.; Л., 1946.
28. Бернштам А. Н. К вопросу о возникновении классов и государства у турок VI–VIII вв. н. э. // Вопросы истории доклассового общества : сб. ст. к 50-летию книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». — М.; Л., 1936.
29. Толстов С. П. Древний Хорезм: опыт историко-археологического исследования. — М., 1948.
30. Толстов С. П. Города гузов: (историко-этнографические этюды) // СЭ. — 1947. — № 3.
31. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. — М.; Л., 1948.
32. Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. — М., 1951.
33. Киселев С. В. Рец на кн.: Бернштам А. Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII вв.: Восточнотюркский каганат и кыргызы // ВДИ. — 1947. — № 1.
34. Евтюхова Л. А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). — Абакан, 1948.
35. Левашова В. П. Два могильника кыргыз-хакасов // Материалы и исследования по археологии Сибири (МИА. № 24). — М.; Л., 1952. — Т. I.
36. Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. — М.; Л., 1965.
37. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. — М., 1993.